

В Греческом зале

Здравствуй, дорогой мой папочка!

Как давно я тебе не писала: ведь есть телефон. И ты с мамой не часто баловали меня письмами. Хотя мама отнюдь, из всех гастролей, из всех поездок до своей болезни, до 1975 года, писала письма, открытки с видами того места, где в тот момент вы работали или отдыхали. Иногда ты приписывал в конце несколько фраз, теплых и нежных...

Как мне не хватало твоего тихого голоса, твоих больших красивых, теплых и мягких рук! Как я грущу от невозможности заботиться о тебе, знаю, что я тебе была всегда нужна: и как слушатель и зритель твоих новых монологов, и как младший медперсонал, и просто как друг и обожающая тебя дочь.

Я знаю, ты меня очень любил. Ты хотел, чтобы родилась девочка. Ты говорил маме: «Хочу, чтобы родилась дочка и у нее были косички». Я родилась и у меня всегда были косички, толстые косы, с которыми я не знала, что делать вплоть до окончания училища. В театре надо было иногда надевать парик, а волосы не лезли ни под какой размер парика. Ты очень хотел, чтоб я работала с тобой в театре. Ты говорил: «Мне очень тебя не хватает». А мама говорила: «Только через мой труп. Это театр одного актера. Ты не будешь здесь играть. Он тебе не даст. Он думает только о себе. Я сама пишу себе монологи». Я понимаю: в ней говорила обида. Мама сейчас инвалид, давно на пенсии, но она была очень талантливой актрисой, и ты это всегда знал. Но она была твоей женой. Женой художественного руководителя, главного режиссера, первого артиста. Тебе было неудобно заказывать для нее роли, монологи, дать звание, которое она давно заслужила. А она терпела, будучи очень доброй женой, с обостренным чувством справедливости, энциклопедически образованной, знающей прекрасно литературу, беззаветно преданной театру, твоему театру и... тебе. Тебе — мужчине, мужу, отцу ее детей, великому артисту, гражданину и Человеку. Она отдала тебе все свои таланты: она прекрасно писала, она также могла бы быть талантливым врачом, была душой, центром внимания за любым столом. Даже такой удивительный рассказчик как И.Л. Андроников с удовольствием слушал ее устные рассказы из вашей многотрудной, интересной жизни на колесах, жизни бродячих артистов без своего дома. Она была прекрасной матерью, воспитателем. И среди ее учеников был ты, мой любимый. Да! Она огранила тебя, как алмаз. Она выхаживала тебя, как причудливое, диковинное, единственное растение, цену которому очень хорошо знала. Она любила тебя беззаветно, она была связующим звеном тебя с миром, с родными, знакомыми, друзьями. Она была твоим бессменным секретарем. Ее сердце буквально рвалось между тобой, театром, детьми, которые разлетелись из гнезда и у которых уже была своя жизнь, друзьями, обязанностями, которым не было числа. Она много страдала, и я была тому свидетелем. Часто виновником был ты, иногда даже не сознавая, что приносишь такие страдания любящему и любимому человеку. Да, ты ее очень любил. Этому я также была свидетелем. Ты восхищался ею, гордился ею. Я помню, как ты замирал за столом, за нашим раздвинутым для гостей столом, когда она рассказывала, всегда ярко, талантливо, с присущим ей одной юмором, как ты обводил всех глазами, как ты ей уступал пальму первенства.

Папа... Папочка... Я никогда уже не назову тебя так, только в воспоминаниях и только беззвучно. Как я виновата перед тобой! Я мало тебя расспрашивала, хотя я знаю, у тебя было, что мне рассказать. Я всегда спешила. Куда? Зачем? Кому я была нужна? Так как тебе и маме — никому. Только, может быть, маленькому сыну. Но это было давно. Так давно, что кажется сном. Театру? Это тоже сомнительно. Надо было давно все бросить и всегда быть с вами, мои несравненные, любимые, единственные родители. Боль невозвратимой, ничем не восполнимой утраты и моя вина, пусть косвенная, всегда будут со мной.

Возвращаясь в детство, с ужасом убеждаюсь, что не помню или очень туманно помню вас, мои дорогие, может потому, что все перебила война. Трех лет я попала в эвакуацию под Ярославль, там очень заболела, вы меня выцарапали оттуда, и

Веч. Москва - 1996 - 23 окт - 02



К ЮБИЛЕЮ АРКАДИЯ РАЙКИНА

24 октября
ему исполнилось бы 85 лет.
Сейчас готовится к печати
книга «Аркадий Райкин
в воспоминаниях
современников».
Составители книги
Е. Райкина и Л. Михайлова.
Публикуем сегодня в канун
юбилея великого артиста
необычный отрывок
из книги — письмо дочери
Райкина — Екатерины,
написанное после смерти
маэстро

со своим театром, пел у тебя дома всю ночь, на радость и восхищение вам и всем вашим соседям, которые, как потом оказалось, записали весь этот незабываемый вечер (такая слышимость была в вашей ленинградской квартире). А потом однажды в Москве у наших общих друзей, в доме, где жил Володя, мы сидели за одним столом и как бережно и нежно он смотрел на тебя, как на Патриарха, как смущался, когда ты говорил о своей любви к нему, к его творчеству.

Последние годы (после болезни мамы) я всегда старалась быть вместе с вами на отдыхе. Чаще всего это было Рижское взморье. Латвия, Юрмала. Там вас давно знали, любили, очень уважали, кроме того, Рига — это твоя Родина. Тебя туда всегда тянуло. Ты там хорошо себя чувствовал. Любил прогулки вдоль моря, радовался скупому редкому прибалтийскому солнышку, встречался с интересными людьми... Но проходила неделя, другая и ты начинал тосковать. Звонил авторам, призывал их, начинал работать с ними, обсуждать новые проблемы, темы, учить тексты, повторять старые, к тебе приходили журналисты за интервью и местные, и приезжие, ты никому не мог отказать. Тебя расспрашивали, фотографировали, фотографировались с тобой, отлекали тебя от работы, ибо работа уже началась: ты переставал спать, ты, гуляя с кем-нибудь по пляжу, в относительно безветренную погоду (когда дул ветер тебя врачи укладывали в постель, давало себя знать сердце), вдруг начинал монолог. Собеседник, думая, что это ты говоришь, а не персонаж, вставал какие-то замечания, вопросы, или просто поддакивал, а то вдруг начинал с тобой спорить. Мне со стороны это было очень забавно и смешно. Я видела, как ты неуверенно пробивался текстом к сознанию и сердцу собеседника, а он ничего не подозревал. Тебе была нужна реакция слушателя. В этих репетициях-беседах, монологах-диалогах, рождались твои образы, уточнялись характеры, тексты, репризы. А если иногда оказывалось, что где-то рядом, поблизости отдыхает кто-то из твоих артистов, начинались настоящие репетиции. А ночи не было. Не помогали сновидения, успокаивающие настои трав. Даже если ты засыпал, через два часа уже лежал с открытыми глазами и шевелил губами. Я пробовала прийти тебе на помощь, как когда-то делала мама. Я предлагала почитать тебе вслух. Иногда это была интересная статья в газете, журнале. Однажды это был Стефан Цвейг: «Мария Стюарт», «Жозеф Фучше». Ты с интересом слушал, потом я видела, что глаза твои закрыты, я начинала читать тише, монотоннее, и ты засыпал. А как-то я взяла в библиотеке «Былое и думы» Герцена. По ходу чтения ты говорил: «Удивительно! Как современно! Замечательно!». Утром, когда я проснулась, то увидела в твоих руках книгу, а на носу очки — ты не сомкнул глаз всю ночь. Вспоминаю Юрмалу, мне хочется поблагодарить весь персонал санатория «Рижское взморье», где так заботливо и внимательно относились к тебе и к маме. Особенно после того, как с мамой случилось несчастье, после 75-го года. Иногда я не сразу могла приехать к вам туда (гастроли, затянувшийся сезон в театре, несовпадение наших отпусков), и тогда тебе приходили на помощь все — и сестры, и врачи, и отдыхающие там люди. Ведь маме надо было помочь во всем. А с каким терпением, любовью и нежностью ты относился к маме! Как ты следил, чтобы она всегда была аккуратно одета, причесана, следил за ее диетой, своевременным принятием лекарств, о чем забывал, когда это касалось тебя. Как ты радовался ее успехам в занятиях с логопедом, с массажистом, с физкультурником. И в каком упорстве и верой мама героически преодолевала болезнь, которая то отступала, то с новой силой и коварством обрушивалась на нее.

Я вспоминаю, как в конце 1974 года, когда вы работали в Ленинграде очередную программу и репетировали следующую, которой вы должны были начать гастроль в Москве в новом году, я звонила вам из Москвы, узнавала, как идут спектакли, репетиции, как здоровье. Мама часто звонила мне и жаловалась, что совсем было на нее не похоже. Она говорила, что по утрам кружится и болит голова, что пол встает дыбом, что не может запомнить текста на репетициях, что папа сердится, партнеры недоумевают и жалуют ее... Я умоляла ее заняться своим здоровьем, пойти к хорошему невропатологу, если надо, лечь в больницу. Помню, в отчаянье, я кричала в трубку: «Мамочка, если себя не жалеешь, пожайте хоть нас! Это все тревожные и грозные при-

Екатерина РАЙКИНА

НА ВСЮ МОЮ ЖИЗНЬ...

(неотправленное письмо)

случайно; буквально странным стечением обстоятельств, я оказалась в Ташкенте, одна (вы были с театром на фронтах, обслуживали нашу Армию) в семье, где прятались два дезертира, где я голодала, ужасно тосковала и чудом осталась жива, когда за мной приехала бабушка.

А потом — Ленинград, школа и... ваши бесконечные гастроли. В Ленинграде со мной вы бывали очень мало. Я только помню, что я очень скучала и всегда ждала. Чувство ожидания писем, открыток, телефонных звонков, — а потом приезд! Встреча радостная, веселая, с цветами. Вы с мамой усталие, но всегда счастливые, с рассказами, с фотографиями, с подарками.

Провожая вас чаще всего на поезд в Москву или в другой город, я всегда долго шла за поездом, потом начинала бежать и так неслась до самого края платформы. Это была наша игра... Ты ее ждал, смеялся. Ты умел шутить.

Мама рассказывала, что в очередной раз вашего пребывания в гостинице «Москва» (а вы всегда там жили во время гастролей в Москве, и номер 1212 становился вашим домом на полгода) вы возвращались вечером после спектакля. Вышли из лифта, поздоровались с ключницей носом дежурной по этажу и направились к своему номеру, который находился (и находится сейчас) в самом конце длинного коридора. Мама впереди, ты за ней. Вдруг ты ее обогнал и начал медленно снимать с себя одежду: пиджак, галстук, рубашку, брюки... Все это на ходу. Мама в ужасе, но давая от смеха, стала тебя упрямить не делать этого, может увидеть дежурная, может в любую минуту открыться любая дверь и появиться кто-нибудь из гостей столицы... Но ты неумолимо раздевался и вошел в номер совершенно голый. Мама чуть не упала в обморок. Но это было давно, в пятидесятых годах, когда вы были еще сравнительно молоды.

А много лет спустя, я помню, вы уже жили в своей московской квартире, и Котинька, получив свой «огромный» гонорар за двухсерийную картину «Труффальдино из Бергамо», купил вам с мамой в подарок цветной телевизор. Ты был очень тронут, страшно обрадовался, лег на диван перед включенным цветным ящиком и довольно скоро тихонько засопел, а когда, через какое-то время, ты открыл глаза и увидел, что мы с мамой смеемся над тобой, ты смущенно сказал: «Оказывается, под цветной телевизор так хорошо спится! И снятся цветные сны!»

Помнишь, как мы с тобой играли пьяных за столом. Сначала я была просто навеселе, потом у меня начинал соскальзывать со стола локоть, клонилась голова и до отказа подымались наверх брови, тут ты переставал быть партнером, начинал хохотать, а я сердилась, что ты не можешь держать всерьез. А как я смеялась, когда автор приносил какую-нибудь миниатюру или монолог, а ты звал меня послушать. В результате ты сам начинал смеяться и просил меня сесть подальше или попробовать не смеяться так громко.

Я помню, как мы с тобой в Ленинграде ходили в театр Товстоногова, который ты так любил. Ты знал всех актеров, радовался их успехам. Тебя всегда приглашали за кулисы, а когда мы тихонько после антракта входили в уже темный зал, вдруг вспыхивал весь свет и люди вставали, приветствуя тебя бурными аплодисментами. Ты улыбался, обводил глазами зал и чуть-чуть кланялся. Так было всегда. Однажды ты был на спектакле по пьесе Чехова. В антракте к тебе потянулась очередь за автографами. Протягивали программки. А ты стал тихонько недоуменно шептать: «Ну что же это такое? Ведь я не Чехов». А на спектакле Л. Додина в его театре, в антракте точно также люди потянулись к тебе с программками, ты покорно подписывал, хотя тебе это было уже очень трудно, рука плохо слушалась. Вокруг наших кресел толпились народ, лица взволнованные, улыбающиеся, трогательно-нежные. Когда уже надо было начинать второе действие, вышел в зал администратор, увидел это и сказал: «Дорогие друзья! Аркадий Исаакович сегодня у нас в гостях. Давайте дадим ему отдохнуть». Это было сказано громко, очень вежливо, уважительно и к зрителям, и к тебе. В этом была культура и этого человека и этого театра. И люди, кивая головами, тихонько расселись по своим местам. И во МХАТе, когда ты вошел перед началом спектакля в зал, люди тоже стоя приветствовали тебя. Ты всегда это воспринимал с большой скромностью и достоинством. Однажды ты пригласил нас с Володей во МХАТ на премьеру возобновленного спектакля «Горячее сердце». В нем были заняты корифеи: Шевченко, Грибов, Яншин, Станицын, который восстанавливал спектакль как режиссер. Володя упирался, говорил, что одет не для театра, в свитере, в джинсах (времена на переодевание не было). Ты мягко его упрямивал, и, когда мы гуськом пошли по параллельному сцене проходу, чтобы сесть на свои места, зал встал. А на спектакле в зале присутствовали все, не занятые в этот вечер актеры, среди них Кторов, Пилыская, Тарасова, Масальский, Прудкин. Они зааплодировали тебе и встали. За ними встал весь зал. Володя по обыкновению ужасно смуглился, зашептал: «Аркадий Исаакович, что делать? Как мне быть?». И ты так же тихо ему ответил: «Я сам не знаю, ве-

себя естественно». И Володя скрылся из зала...

На улице люди при встрече с тобой толкали друг друга локтями, обращались к другим прохожим с возгласами: «Райкин!». И сколько оттенков было у этих возгласов! И ты всегда здоровался, улыбаясь и кланяясь; ты был снисходителен к слабостям людей, которые не могли сдержат себя при виде любимого артиста. Но как ты умел быть безжалостен, когда дело касалось других, более серьезных пороков людей. Мама мне рассказывала, например, как ты дал пощечину вашему бывшему директору, который ради своих корыстных интересов в Польше, во время ваших очередных заграничных гастролей, подвел всю труппу.

Когда мама мне это рассказывала, я с трудом поверила и спросила, так ли это было. Ты ответил утвердительно, смущенно опустив глаза. Значит, действительно, надо было тебя довести.

Ты очень любил талантливых людей, многое им прощал, иногда до поры до времени, если это касалось твоих партнеров и близких. Ты восхищался музыкантами Рихтером, Гилель-



Катя, Рома и Аркадий Райкины, Рика, Майори, 1982 г.

сом, Ойстрахом, Коганом, Ростроповичем, Геннадием Рождественским, обожал Майю Плисецкую.

Ты любил художников, любил открывать молодых, с удовольствием ходила с тобой в их мастерские — С. Бродский, Б. Жутковский, Ю. Васильев, А. Данов... Ты очень хорошо знал и любил живопись. Меня всегда удивляло и восхищало твоё знание классической музыки.

Ты благословил на подвиги талант Саша Калягина, Гены Хананова, твоими учениками считали себя Р. Карцев и В. Ильченко и другие, кто работал с тобой или учился у тебя, сидя в зале.

У нас дома очень много писем, документов, афиш, рецензий, твоих интервью и статей. Я не хочу с ними расставаться. У меня просят это в Бахрушинский музей. Но я хочу с этим пожить, воскресить в памяти многое и многое узнать. Ведь мы так мало были вместе. Пока, мой дорогой, я не могу к этому прикоснуться. Мне больно, так больно, что хочется кричать. Особенно, когда видишь, как тебя забывают. А ведь это ты готовил сознание и сердца людей к тому, что так жить нельзя. Так жить стыдно и недостойно званием Человека. Я думаю, как эфемерна профессия артиста театра. От него остается только легенда. Как мало тебя снимали, как мало думали о том, чтобы запечатлеть твой талант, твоё прекрасное лицо, улыбку, твою неповторимую пластику для будущих людей. Ведь такой артист, как ты, родится, дай Бог, один раз в 100 лет. Было время, когда несколько десятилетий подряд со дня основания твоего театра (1939 г.) вы выпускали каждый год программу, играли ее весь год в Москве, Ленинграде, на гастролях в других городах Советского Союза. Играя, репетировали новую и на следующий год привозили в Москву премьеру. Сколько их было! Где они? В памяти и сердцах уходящих людей. И только. А ведь в этих программах, в каждой, были и шедевры...

Сейчас много пишут, говорят, показывают пленки о Володе Высоцком. Это правильно. Это отдается ему долг, его прекрасному таланту актера, барда, Поэта, Гражданина. Но ведь Володя жил рядом с тобой. Вы любили друг друга. Помнишь, ты мне рассказывал, как он, будучи на гастролях в Ленинграде

знаки». Мама смеялась и обращала все в шутку, успокаивала меня, говорила, что ее больше заботишь и тревожишь ты. Твоя занятость с утра до вечера, интенсивность и неукротимость твоей работы, заботит «проходимость» некоторых вещей новой программы. Конечно, у нее на первом месте всегда был ты. И вот — Новый, 1975-й, роковой для нашей семьи и, в какой-то мере, для твоего театра, год. Вы уже в Москве. Встреча Нового года, как часто бывало в последнее время, в доме вашего друга В.Л. Касиля и его жены Верочки. Было, как всегда, весело, вкусно, уютно, с лотереей, с интересными людьми, с интересными забавами, смешными рассказами, с надеждами, как всегда, устремленными в Новый год. А 5 января днем, в доме у своей подруги С.Л. Собиновой (куда я отвезла маму на такси), с ней случается страшный смертельный инсульт. Этот день должен был быть последним ее днем. Но несчастливое стечение обстоятельств, о котором всегда помнила и любила говорить мама — Владимир Львович Кассиль, сын Льва Абрамовича, твоего близкого друга и мужа С.Л. Собиновой, незадолго до этого вышел от нее и по профессиональной привычке сказал, куда идет. Ему тут же позвонили. К счастью, это было очень близко. Он вызвал свою реанимационную бригаду и... подарил маме еще пятнадцать лет жизни.

А тогда: 9 января у вас должны были начаться гастроли в Польше. Владимир Львович сказал: «Аркадий Исаакович, вы здесь не нужны. Мы сделаем все, что нужно. Поезжайте и работайте. Так будет лучше для вас».

Мы переживали страшные дни. Я поехала с тобой и ты мне сказал: «Будешь играть все мамини роли в программе». И в поезде я днем и ночью учила текст и репетировала. А когда приехала в Варшаву, оказалось, была без голоса — на нервной почве. Врачи быстро мне его восстановили, но ты заболел воспалением легких. Интенсивное комплексное лечение быстро поставило тебя на ноги. Мы каждый день звонили домой. Володя и Котя держали нас в курсе лечения и состояния мамы. Целый месяц, пока нас не было, В.Л. и его бригада боролись за жизнь мамы, а когда мы вернулись, она была уже в институте неврологии у Шмидта, где ее постепенно ставили на ноги. Но подвижность руки не вернулась, речь была очень ограничена...

Тебя спасла только работа. Как ты хотел, чтобы каждое слово твоих монологов доходило до польского зрителя, как не отпуская от себя молоденькую переводчицу, которая валялась с ног, как днем и ночью учил и учил польские слова и выражения. Как я пыталась убедить тебя, что в Польше многие знают русский, что нет необходимости так себя изводить. Но ты был непреклонен. Гастроли прошли с большим успехом. Но я помню, как ты плакал, думая о маме, как тревожился и с замиранием сердца набирал московский номер... Боже! Сколько было больниц в твоей жизни. Сколько раз, почувствовав себя чуть лучше, ты удирал из под опеки врачей в театр, на спектакли, на репетиции. Как говорил: «Как же там они без меня? Опять отмена спектакля? Ведь это значит, что они ничего не получают!». Ты имел в виду своих актеров, «свою семью» — так ты назвал свой театр в воспоминаниях. Я помню, как в очередной раз в больнице — это было перед Новым годом — болезнь осложнилась воспалением легких и сразу сдало сердце. Реанимация. Трубки, капельницы, страшная тишина палаты, над головой аппарат, показывающий на экране работу твоего слабющего большого сердца. Тревожные лица и шепот сестер, врачей и я, пришедшая встретить с тобой Новый год. Подарки, шампанское и твоя слабая улыбка в ответ на поздравления и пожелания здоровья. А твоя последняя больница... Мы все по очереди, а иногда вместе с мамой, с Володей, Котей и Алешей навещали тебя. Ты был уже очень болен. Последние три года сильно давал знать «паркинсон». Сковывающий, он ограничивал твою мимику, движения, даже речь. Я знаю, чего тебе стоило почти каждый вечер выходить на сцену и работать, работать, работать... Не выходить на сцену ты не мог. Я это поняла давно. Когда врачи, друзья, родные убеждали тебя не работать так много, уйти из театра, появлялись только на концертах, когда ты хорошо себя чувствуешь... Бросить театр?! Твое любимое детище? Твоих любимых зрителей, так преданных тебе и так верящих тебе? Это было бы равносильно смерти. Я помню, как ты во время разговора с министром культуры Фурцевой сказал, что 46 рублей за спектакль — это стыдно, в этой цифре выражено все отношение начальства к твоей работе. А она весело сказала: «А вы бросьте театр. Зачем вам он? Зачем? Играйте за вечер, за день несколько концертов, выходя на сцену на 10 минут, и будете получать во много раз больше!». Ты с возмущением рассказывал об этом. Я это помню.

Вечером, после спектакля ты оживал, зал заряжал тебя энергетически. Уже во время спектакля, в процессе спектакля у тебя становился крепче голос, движения делались все более и более уверенными, тебе не хотелось уходить со сцены. Да тебя и не отпустили. Твои зрители продлевали тебе жизнь. Этому я была свидетелем, и я люблю их так же, как любил их ты. Я им благодарна за тебя. Когда же болезнь лишила тебя их на время, ты страшно тосковал, ты рвался обратно к живому творческому источнику. Ты знал: они тебя спасут, защитят. И так было всегда. И это было великим твоим счастьем.